

МАРК ХАРИТОНОВ

ОТЕЦ И ДОЧЬ

1

Рано или поздно Соне надо было познакомить Виктора с отцом, и она нервничала, сама стыдясь собственных опасений. Это был второй раз, когда она застенялась отца. В пятом классе с ней переписывался венгерский мальчик, который писал ей по-русски, знал еще три языка и собирался стать *ориенталистом*. Его родители были музыканты — и ему Соня тогда ответила, что у нее мама — воспитательница в детском саду, а папа — архитектор. Почему-то показалось стыдным написать, что он именно фотограф, да еще фотограф-частник в какой-то щели у Зацепского рынка, где с трудом можно было повернуться, чтобы сесть на стул, не задев обшарпанный ящик аппарата или лампу за марлевой занавеской. Хотя до сих пор Соня сама гордилась, что папа занимается такой особенной среди всех работой и что ни у кого не было столько собственных фотокарточек, как у нее. Она была снята в разных поворотах и позах, во всех возрастах, начиная с четырехлетнего, когда отец пришел с фронта. Он взял патент тогда же сразу, в сорок четвертом, едва вернулся — маленький еврей со скрюченными пальцами на левой руке. (Пуля пробил ладонь; это было нехорошее ранение, как у самострелов в сорок первом году, но, конечно, теперь никто не мог сказать ему худого.) Фотограф он был всегда плохой; даже не слишком привередливые посетители Зацепского рынка то и дело с ним переругивались, и добродушному Ефиму Григорьевичу приходилось горячо доказывать, что клиент ничего не понимает, эта карточка больше похожа на него, чем он сам («Чтоб я так жил, чтоб мои дети так жили, — возмущенно божился он, — конечно, она еще мокрая, а высохнет, вы-таки сами увидите. Или вы торопитесь — тогда что же вы говорите?»), и он заворачивал в газету еще мокрые отпечатки, и посетитель уходил, неуверенно оглядываясь на витрину, где красовались снимки, вымеченные Ефимом Григорьевичем у мастеровитого коллеги на пачку дефицитного метолгидрохинона. Не раз, особенно после разговоров с приезжими, он начинал задумываться, не перебраться ли ему в какой-нибудь райцентр, где он был бы один, нарасхват, и где заработки были бы, может, больше, чем здесь, но всякий раз его останавливало напоминание, что, по рассказам, всюду слишком уж голодно, и потом — где же там доставать химикалии? Так он и тянул эту фотографию до последних лет, пока налоги не стали совсем

непосильными и пока их не переселили в новый дом. К тому же в тот год умерла Сониная мама — жизнь перевернулась наново. Ефим Григорьевич, враз постаревший, поторговал некоторое время книгами с лотка («Очень дефицитное издание, — убеждал он прохожих, — в магазинах выдается только по специальной подписке») и наконец удачно устроился на должность завскладом. Теперь это был лысоватый старик не очень опрятного вида, потому что он не мог брить свою пыльного цвета щетину два раза в день, как она того требовала. Услышав от Сони, что она выходит замуж, он прослезился и немножко расстроился, что дочь ему об этом говорит как уже о решенном, не спросив его сначала, — но что он мог поделать? Соня понимала, что и знакомство его с Виктором будет безобидным, ничего оно не изменит, — и все-таки нервничала. Она предпочла бы даже опять что-нибудь приврать, начни Виктор спрашивать про отца. Это было глупо, но как раз накануне в газете был напечатан его фельетон, где описывалось жульничество некоего пройдохи-кладовщика, и иллюстрация к фельетону изображала отвратительного толстомордого типа с загнувшимися когтистыми лапами. Соня понимала, что все это ничего не значит, да Виктор не проявлял даже и любопытства, ей было стыдно за свою нервозность, но ничего поделать с собой она не могла.

2

Несмотря на дочкины предупреждения, Ефим Григорьевич купил к этому вечеру бутылочку коньяка (он сам предпочел бы водку, но постеснялся, что это будет выглядеть простовато). Он побрился, аж на щеках покраснелись пятна, надел коротенький галстук с широким узлом и, встретив будущего зятя у двери, потянулся было поцеловать, однако смешался, поздоровался неловко за руку. Втроем они сели за стол под ярким оранжевым абажуром. Вскоре после выпитых рюмочек напряженность Ефима Григорьевича прошла. Счастливо сияя, он смотрел сразу сузившимися глазами на дочь и ее будущего мужа. Он думал, какая Соня стала красавица за последний год, а была совсем невидная девочка, совсем невидная, она всегда из-за этого переживала, он знал, зато особенно хорошо занималась и ни о чем больше не думала. Когда она прошлым летом не поступила в институт, это была настоящая трагедия для них обоих; но теперь он только жалел, что хотя бы кто-нибудь из родни не видит его праздника. У него в Москве никого не оставалось. Покойный отец, единственный из всего местечка, сумел здесь втиснуть когда-то без разрешения свой домишко в глубине двора, да так быстро, что участковый милиционер заметил беззаконие уже подведенным под крышу, а там дело решилось магарычом, дому был дан номер 5-а — вспомнить сейчас страшно, как они там жили, среди грязи и мышей. Да и вообще ему всегда было не по себе в большом городе, он был провинциал, самый что ни на есть местечковый провинциал — где огороды, курятники среди зелени, пыльные тракты...

Молодой человек что-то общительно рассказывал, Ефим Григорьевич слушал, плохо запоминая.

— А вы читаете только в газету, — спросил он вдруг невпопад, — или книги тоже?

— Нет, только в газету, — усмехнулся Виктор.

— А, — одобрительно кивнул Ефим Григорьевич. — Вы знаете, газеты мне легче прочитать, а от книги я быстро устаю. Мне только нравился Шолом-Алейхем, я читал, вы знаете?.. О, а я сам видел, что так было, как он пишет. Я сам могу вам рассказать такие истории, что у Шолом-Алейхема вы не найдете. Это у нас в местечке...

— Папа! — встревоженно сказала Соня.

— О, ты тоже не слышала? — обернулся к ней Ефим Григорьевич. — Это у нас в местечке была одна вдова, так она ходила все время на могилу своего мужа и начинала плакать: я не хочу без тебя жить, и дети меня не любят, возьми лучше меня к себе. Так кладбищенскому сторожу это надоело, и что он сделал... Да, а в местечках тогда был такой предрассудок, что мертвые по ночам выходят из своих могил, чтобы помыться, и гуляют по улице. Так он ей говорит: зачем тебе ходить сюда каждый день? Сегодня ночью твой муж выйдет, станет мыться, и я сам ему передам, что ты просила. И действительно, он ей говорит на другой день: слышишь, я вчера спрашивал твоего мужа, он просил сказать, чтоб ты ходила сюда еще два дня, а на третий он тебя таки возьмет. Так с тех пор эта женщина перестала на кладбище появляться.

Он фальцетисто засмеялся. Соня с опаской взглянула на Виктора: не коробят ли его эти еврейские разговоры, но он улыбался, и она подумала, что его это может интересовать как журналиста, собирающего материал. Она весь вечер сидела напряженная и хотела, чтобы поскорей завершилась эта неизбежная обязанность, пока не произошло чего-то конфузного. До того как окончательно решить вопрос о свадьбе, надо было еще познакомить отца с родителями Виктора, но это было проще, они удивительно понимающие люди. Соня после первого знакомства с ними почувствовала себя просто счастливой, потому что они заговорили с ней на равных, и она беседовала с ними о новинках литературы и о живописи, и они оценили, что она во всем этом разбирается — ах, господи! Сидя в их комнате под изящной люстрой, среди стен, уставленных книжными стеллажами, она думала, что вот здесь жизнь, которую она хотела бы иметь, которую подозревала по книгам — мир других измерений, других ценностей. Ей почему-то вспомнилось ощущение, испытанное много лет назад в гостях у подружки, которая единственная из окрестных знакомых жила в доме со всеми удобствами — хотя потом, когда они сами переселились в новую квартиру с прекрасным ровным полом и ровными стенами, в этом не оказалось привкуса тогдашнего благоговения...

Отец продолжал рассказывать очередную из своих историй, о том, как какой-то еврей ехал на ярмарку в Житомир, а попал к себе домой и стал удивляться, до чего Житомир похож на его местечко... Виктор, уже вполне освоившийся, попросил разрешения закурить; Ефим Григорьевич тоже потянулся за сигаретой, однако Соня его одернула:

— Тебе нельзя.

— А, сегодня я пью и курю, — лихо махнул рукой отец. — Но вы видите, молодой человек, какая у вас будет строгая жена... О, я же вам могу показать карточки, какой она была маленькой, — вдруг вспомнил он.

— Папа, ради бога! — совсем уже нервно сказала Соня.

— Видите? — Ефим Григорьевич улыбнулся и сделал пьяный жест скрюченными пальцами. — Это называется жена с перцем, а муж с сердцем.

— Ты долго думал? — спросила Соня.

— А что, я за словом в карман не полезу, — польщенно улыбнулся старик, но уловил неловкость и сглотнул слюну. — Я что-то не так сказал? Извиняюсь...

Он пересел на старенький диванчик — пусть молодежь побудет наедине. Он не обиделся, он все равно был счастлив. Он сидел на диванчике, маленький, пьяный, с давно погасшей сигаретой в губах, и все казалось ему удивительно красивым: Соня и этот молодой человек, про которого он хотел еще только выяснить, еврей ли он, но никак не мог спросить. Хотя что от этого изменится? А если нет, так он ему скажет «нет»? Ефим Григорьевич даже приготовил начало, как об этом спросить; он хотел сказать: «Я, конечно,

человек не религиозный...» — но все-таки было неловко, он боялся обиды. А кроме того он еще хотел предложить молодому человеку сыграть партию в шашки, ему надоело сидеть одному. Правда, он понимал, что Виктор играет скорее в шахматы... Все же он не утерпел, поднялся с дивана, с той же погасшей сигаретой, прилипшей к пьяным, счастливо улыбающимся губам... Но тут оказалось, что молодой человек уже торопится. Ефим Григорьевич огорченно пожал протянутую ему руку, сел снова на диван. В комнату вернулась Соня, начала убирать со стола. Он подождал, пока она что-нибудь скажет, но дочь молчала, и он не вытерпел первый.

— Ты чем-то недовольна? — сказал он. — Что-нибудь было не так?

— Нет, ради бога, — проговорила она. Она хотела бы, чтобы отец сейчас замолчал. Так было все напряженно весь вечер, что она боялась какой-нибудь разрядки. Только бы он не завел опять своей шарманки насчет того, что он, конечно, не так образован, потому что ему с четырнадцати лет пришлось кормить семью, все эти его разговоры, когда она провалила экзамены в университет. Он и тогда не понимал, что ей больше всего хотелось умереть на год или хотя бы проспать это время и проснуться, когда все выправится, — а вместо этого надо было что-то делать, говорить и выслушивать эти его отцовские утешения, звучащие как попреки за то, что он ее кормит. Ну вот, теперь устроилась на работу — он доволен? Почему для других это не проблема? Всем были даны равные права. Мало ли людей с четырнадцати лет работали, но все-таки получили же образование. Отец Виктора тоже был когда-то простым рабочим — рабочим, а не фотографом и не кладовщиком...

— Я сегодня посмотрел, какая ты стала красивая, — сказал Ефим Григорьевич. — Э, от тебя никто не откажется, не волнуйся. Ты еще можешь от него отказаться, — пошутил он. У него было хорошее настроение, и он даже остолбенел, когда Соня, с силой швырнув ложки в таз, закричала, чтоб он перестал говорить о том, чего не понимает, он не понимает, как она выглядит среди других, как они живут, но она тоже в этом не виновата и не виновата, что ей стыдно ходить в этом платье в порядочные дома, что ей приходится месяцами носить чулки со штопкой, и не известно даже, во что она оденется на свадьбу, — об этом он думал? А Витины родители уже предлагали ей заранее подарок, только она отказалась; если б он знал, какие это люди и как ей каждый день бывает стыдно, стыдно, стыдно... Она не хотела этого говорить, она никогда так не кричала на отца — точно он задел какое-то очень больное для нее, тщательно скрываемое от себя самой опасение, она сама сейчас себя ненавидела, но неудержимо прорывались слова, которые когда-то приходили едва осязаемо на ум, только она гнала их прочь, — а теперь получалось, что она все-таки действительно так думала... Ефим Григорьевич слушал ее, приоткрыв рот, и даже сузившиеся от выпитого коньяка глазки сейчас казались большими; щеки его опять были пыльного цвета от проступившей шетины, он не мог произнести ни слова, и, когда Соня, выгорившись в истерике и ненавидя себя, бросилась на свою кровать и разрыдалась, он даже не осмелился подойти к ней, чтобы погладить успокоительно ее волосы, все сидел так, будто задумался напряженно.

Всю неделю Соня приходила домой поздно и почти не виделась с отцом. Она хотела, чтобы прошло некоторое время, пока можно будет поговорить с ним, попросить, если нужно, прощения, он поймет, что она просто разнервничалась, для нее Виктор значит слишком много, и она всего боится...

Это случилось как раз в следующую пятницу. Она возвратилась домой раньше обычного и ошеломленно остановилась в дверях. Все в комнате было

перевернуто, раскидано, отец сидел на отодвинутом от стены диване, а возле раскрытых дверок шкафа и выдвинутых ящиков письменного стола хлопотали трое незнакомых людей. Первое, что пришло ей на ум, была мысль о грабеже, она готова была закричать, но не оказалось голоса, и тут же она заметила сидевших у стенки смущенных соседей, а в следующее мгновение Ефим Григорьевич поднял голову.

— О, доченька, — вскочил он взволнованно, — ничего страшного, ты не бойся. Они сейчас закончат.

Он не решился подойти к ней, и они стояли так друг против друга; Соня тоже не могла оторваться от дверей. У этих людей были серые длинные лица, удивительно одинаковые, страшные, тонкогубые, они были очень высокими, и особенно щедушным казался среди них отец. Соня оцепенело смотрела, как они перебирают ее вещички, даже отложенное в нижний ящик грязное белье — они производили обыск старательно, несмотря на очевидную бедность комнаты, возможно подстегиваемые историями о миллионах, запрятанных в нищенской подушке. Соня, как во сне, следила за их действиями, смутно воспринимая происходящее, неспособная дать себе отчет, сколько прошло времени, пока эти люди ушли вместе с понятыми и пока в комнату вернулся отец.

— Ну вот и все, доченька, — проговорил он. — Ничего страшного.

— Это был обыск?

Он вздохнул. Ему трудно было говорить, он чувствовал себя очень ослабевшим, сел на диван.

— Ты что-нибудь сделал? — спросила она с ужасом. В ее сознании мелькнула фигура отвратительного толстяка с загнувшимися когтями и черный заголок фельетона.

— Э, если бы я умел сделать, — покачал головой Ефим Григорьевич. — Врагам моим так уметь сделать. Я не умею, я им всегда говорил, чтоб меня оставили в покое. Но они месяц ходили за мной, они даже узнали, что у меня дочь выходит замуж. — Он говорил монотонно, тихо, потому что чувствовал себя очень уставшим. — Нужны мне были эти триста рублей как я не знаю что. Я же знал, что не сумею. Трус в карты не играет. Я только отдал им эту накладную, больше с меня не требовалось, — и почувствовал, что сейчас умру, так у меня сильно стало биться сердце. Оно у меня весь день так билось, что если бы я сам не пошел туда, я бы уже имел разрыв сердца. Но теперь не страшно. Мне даже могут ничего не дать, я сам все пошел рассказать и не успел получить ни копейки.

— Тебя будут судить?! — У Сони расширились от ужаса глаза. Она вдруг почувствовала себя оглохшей, только видела, как шевелились толстые бескровные губы отца, и не слышала ни слова, в мозгу вертелся все тот же рисунок уроды с загнувшимися когтями, и слова *суд, под суд*, и тонкая усмешка Виктора, и тут же вспомнилась мысль о его родителях, она собиралась завтра их познакомиться, — но все непостижимо переламывалось, рассыпалось... Ее начинало наполнять почти физическое ощущение невозможности всего: разговоров, свадьбы, жизни.

— Господи! — закричала она, еще неуверенно. — Что ты наделал?! — И тут же у нее пронеслось в сознании, что случившееся было связано с ней, с ее свадьбой... Она чувствовала, как словно выворачивалось все какой-то немислимой силой, ее выталкивало в другой мир, непоправимый, рухнувший. — Что ты наделал?! — кричала она в тоске. — Лучше бы ты попал под трамвай! О, лучше бы мне вообще не жить на свете! — Она, извиваясь, перекатывалась по разворошенной кровати, она кусала простыню, и это длилось, наверное, долго, пока она не обессилела и не застыла наконец в каком-то опустошенном забытии, с шевелящимися обрывками мыслей о Викторе,

о его родителей, — но очнулась она, не помня ничего. Еще уткнувшись лицом в подушку, она вспоминала, что произошло несколько минут назад, собственный крик — как будто со стороны (голос ее был очень похож на мамин, когда она кричала)... Тут ощущение какой-то тревоги заставило Соню подняться. Она села на край кровати и с удивлением увидела, что уже темно. Включила в комнате свет, потом на кухне, потрогала дверь туалета — отца нигде не было. Часы показывали половину одиннадцатого. Соня выбежала на лестничную площадку, затем на улицу, но вспомнила, что не закрыла дверь, и вернулась. Ей становилось отчего-то страшно. С трудом приведя в порядок мысли, она сообразила, что нужно обзвонить отделения милиции, клинику Склифосовского, что еще... У нее не было монет, и, пока она бегала в поисках размена и звонила по всевозможным справочным, везде выслушивая «нет», ей приходило на ум, что там, куда она звонит, могут и не знать, что это именно он, ведь паспорт у него отобрали. На миг представилось тело отца, окровавленное, на трамвайных рельсах, с вывалившимися внутренностями — зрелище, которое запечатлелось у нее в яркий апрельский день, много лет назад, они жили тогда у Зацепы. Ей опять вспомнился свой недавний крик, свой голос с мамиными интонациями... Становилось зябко. Она бросала в автомат монету за монетой, уже не надеясь ничего услышать... А что сказать родителям Виктора? — возвратилась та же мысль. И внезапно ей подумалось, что так будет даже легче, и еще проскользнуло, что облегчится проблема жилья для них с Виктором. Соня сама ужаснулась этой дикой мысли, кровь застучала в висках, она не сразу собралась, чтобы звонить дальше. Да, может, он уже вернулся домой, пока она звонит; что ей это взбрело? У нее оставалась последняя монета, и Соня бросила ее почти с суеверной надеждой...

4

Ефим Григорьевич вышел за дверь тихонько, чтобы не разбудить дочь. Он решил, что она заснула, и обрадовался этому. Идти на цыпочках было трудно, какая-то тоскливая тяжесть разлилась по рукам и ногам, но он не мог сидеть в комнате. И все-таки это было легче, чем позавчера, и вчера, и сегодня утром, когда сердце билось так сильно, что он боялся сию минуту умереть. Он сидел перед этим следователем и так бессвязно отвечал, что тот подумал, не нарочно ли он путает, и кричал на него, но Ефим Григорьевич себя успокаивал, что ведь не будут же его бить, говорят, сейчас не бьют, это он точно знал. Хорошо, что он себя так успокаивал, потому что иначе он мог там же упасть. А потом уже было легче, только осталась тошнотворная тяжесть во всем теле...

Он осторожно закрыл дверь и даже по лестнице еще спускался на цыпочках, хотя это было трудно. А завтра надо идти сдавать дела — как он пойдет? Ну, до завтра пока далеко... На улице было еще светло, после жаркого дня пахло разогретым асфальтом. Ефим Григорьевич медленно пересек улицу. Постоял в очереди за «Вечеркой», потом прошел по скверу в поисках свободной скамейки, заглядывая через плечи зрителей на расположившихся здесь шахматистов. На одной из скамеек играли в шашки, и зрителей здесь было всего трое. Ефим Григорьевич остановился. Мимо шашек он не мог пройти равнодушно. Обстановка тотчас стала ему ясна как свои пять пальцев: молодому человеку, который сейчас задумался над ходом, надо было справа поддать одну штучку, потом еще одну, и за них сразу пройти в дамки. Это было настолько очевидно, что, когда игрок потянулся не к той шашке, Ефим Григорьевич не стерпел и, пренебрегая правилами, выпалил:

— Дайте ему бить, вы не видите?

На него зашикали, но Ефим Григорьевич махнул рукой:

— А, тут не надо подсказывать, он сам не видит? Это и ребенок догадается... э, что вы делаете? — он увидел, что молодой человек все-таки хочет сделать глупость. Но было уже поздно, ход был совершен, на старика опять зашумели, и он, махнув в сердцах, отошел. Он не любил смотреть, как играют плохие игроки, да еще такие упрямые, как этот мальчишка. Уже подсказали тебе правильный ход, так делай... Он был расстроен, кто-то из зрителей даже обернулся на него; он и сам удивился — нет у него других забот, как только волноваться за этого игрока от слова «худо». Мог уже иметь дамку... Э, мало ли делают люди глупостей? Боже, сколько делается глупого, а нам все кажется интересно... Ефим Григорьевич шел по скверу и усмехался. Он вдруг почему-то вспомнил себя совсем маленьким: он сидел на окне, и это казалось очень высоко, внизу росли лопухи и сочная темная крапива, и он плевал из этого окна вниз и думал, как наплюет целый небольшой пруд, там будут плавать лягушки и головастики — целый пруд прямо под высоким окном... Ефим Григорьевич тихо засмеялся. Он продолжал идти, пока не нашел совсем свободную скамейку. Он сел, достал газету и, развернув, поднес близко к глазам, потому что оказалось, что он оставил дома очки и стало уже не очень светло. Но он даже забыл, что хочет читать, таким ясным, четким было это неожиданное смешное воспоминание: сочная густозеленая крапива, мясистые лопухи, и день был желтый от солнца, яркий летний день...

5

Мимо прошли двое молодых ребят из числа недавних зрителей шашечной партии, они узнали старика.

— Эй, папаша, — сказал один. — А этот малый-то выиграл через пять ходов. Слышишь? Он, оказывается, перворазрядник по этим шашкам.

И оба засмеялись.

— Не хочет отвечать, — сказал другой. — Смутился папаша.

Ефим Григорьевич сидел, почти прикрывшись газетой, и было ясно, что он лишь притворяется, будто читает. Потом ребятам почудилось, что он заснул, и он действительно казался спящим. Когда несколькими минутами позже вокруг него собралась толпа любопытных и кто-то побежал звонить в скорую помощь, а кто-то — за милиционером, худая женщина с авоськой в руке сказала, вздохнув:

— На скамеечке сидя — и сам не заметил. Так бы умереть — дай Бог каждому.